

Первый снег пошел тяжелый и влажный. Крупными хлопьями облеплял он деревья, нагромождение гаражей, железные закорючины детской площадки, как будто в муке обваливал печенье, и все становилось торжественным, строгим и нездешним. «Лете-е-ел и тя-ял», – промычал Юрлов и посмотрел с балкона вниз на запорошенный, немного игрушечный, как ему показалось, двор. Воздух сразу как будто простерилизовался от этого снега, стал звонким и острым, и Юрлову было даже немного жалко выпускать в него клубок сигаретного дыма, который, прежде чем раствориться, повисал ленивым, никуда не торопящимся облаком. Юрлов оглянулся: за балконной дверью на кухне металась Любас с придавленным к уху плечом телефоном – от плиты к столу, от стола – к мусорному ведру, как белка, быстрая до суетливости в своей мелкой моторике. Она и говорила также – скороговоркой, и тогда мелкие-мелкие зубы рассыпью неровного речного жемчуга сверкали между ее пухленькими, как у рыбки, губами. Любка и снег, снег и Любка – как круги Эйлера сближались они, покачиваясь, пока в какой-то момент не наплыли друг на друга, и на их пересечении возникло оно – слово «дубленка». Юрлов долго не мог понять, откуда этот сквознячок в душе, что это такое свищет, как струйка воздуха в спущенной шине, пока вдруг не понял, что снег есть, а дубленки у Любы все еще нет. Он затянулся напослед-

док, как перед казнью, потушил сигарету и зашел внутрь.

Пахло поджаркой – морковка и лук – для супа, и стало как-то стыдно – мол, она ему – супчик, второе, а он ей – фигу с дрыгой. Не поднимая глаз, Юрлов проскользнул в зал, взял гитару и лег с ней в обнимку на диван. Из всех углов, как огненные буквы на пиру Валтасара, сияло слово «дубленка». По телевизору, который никто не смотрел, но при этом и не выключал, крутили объявление «Только с 5 по 15 ноября в ДК “Сибэнергомаш” ярмарка шуб и дубленок “Меховой рай”! Цены от производителя. Не упустите свой шанс!». Сквозь фоновый шум телевизора, шипение масла на кухне и наигрыш на гитаре (Юрлов все пытался подобрать аккорды к строчкам «Я знаю – мое дерево не проживет и недели. Я знаю – мое дерево в этом городе обречено») было слышно (голос тонкий и высокий, как если вдохнуть гелий из шарика), как Люба трещит по телефону (было неясно, понимает она, что ее слышно или нет): «Тань, да он деталь даже никакую с завода не может вынести на продажу. Да все носят, идут спокойненько через проходную, а он заладил – неправильно, нечестно. Да че ты хочешь, я ему костюм сама купила, когда мы в ЗАГСе расписывались. Че делает? Да ниче, хоть бы сходил паспорт поменял, сорок пять лет же недавно справили. Там же только фоткаться сначала надо, а он с утра говорит – не, я седня опять какой-то опухший».

Юрлов почему-то даже не обиделся. Он поднялся, отодвинул гитару, которая издала грустное «трень», и полез в книжный шкаф. В шкафу – Гумилев, потертый-синий с корабликом на обложке, в Гумилеве – конверт, в конверте – записка. Пересчитал – все правильно, с каждой зарплаты отложено по тысяче на черный день. Да, собственно, почему на черный, что он, в конце концов, не может какую-то дубленку своей жене купить?

Они шли по юному, невинному снегу, неосторожно нарушали его первозданность, оставляя две цепочки темных следов – больших и поменьше. А снег все летел, ложились белой вуалькой на Любины выпущенные черные волосы, запорошил коричневые синтепоновые пуховики Юрловых так, что они, оба невысокие и плотные, были похожи на сдобные пышки, присыпанные мукой или сахарной пудрой. Доска объявлений возле ДК была сплошь оклеена вывесками, живого места не было: тут тебе и выставка кошек, и массовый тренинг личного роста, и выступление победителя последней «Битвы экстрасенсов». Сегодня, однако, в ДК были не кошки и не экстрасенсы, а шубы с дубленками. Юрлов решил, что все как-то сразу должны догадаться, что денег у него немало и намерения серьезные – он даже погладил карман брюк, где лежал припухший от скопленных зарплат конверт. Ему хотелось, чтобы продавцы, как в фильме «Красотка», когда уже стало ясно, что герои нескромно богаты, любезно приплясывали вокруг них, не зная, что бы еще такого предложить. Но в ДК внимания на них никто не обратил, не подошел услужливо с заискивающей улыбкой и вопросом: «Чем я могу вам помочь?», поэтому Юрлов сразу как-то сдулся, погрузился. Огромное, как футбольное поле, пространство ДК было уставлено алюминиевыми вешалками, с которых гроздьями свисали меха и шкуры. Люба растеклась и размякла, как подогретое сливочное масло, от этого благолепия. Юрлову ударил в нос стойкий животный кожаный запах, который показался ему особенно неприятным, уводящим его куда-то на скотобойню, куда он во время летней грозы в деревне случайно забежал с соседским Левкой в далеком 83-м. Он снял черную, вязаную в рубчик шапочку, промокнул ей лысину и как-то тяжело, с присвистом отдулся, как будто прошел долгий, непростой путь. Люба повела в сторону Юрлова глазами, курносый носиком и затарахтела: «Колястик, давай я только несколько моделей примерю, а если ничего не подойдет, то так уж и быть, в другой раз».

Ярмарка была с грифом «социальная», поэтому вместо стройных барышень в узких юбках там ору-

довали коренастые тетеньки в синих, как у техничек, халатах. Они ходили по залу важные, сосредоточенные, с большими железными рогатинами, которые они запускали, как китобои гарпуны, в самую глубь мехового месива и вытягивали подцепленный улов – шубу или дубленку. Люба мерила прямые, приталенные и в форме трапеции, без оторочки и отороченные мехом енота или лисы, на молнии, пуговицах и с запахом, с капюшоном и без, с простыми рукавами и укороченными в три четверти, под змеиную кожу и даже с пайетками. Люба уплывала от Юрлова все дальше и дальше. Постепенно она уходила под дубленочный вал, как утопающий, которого невозможно спасти, и скрывалась, навсегда погребенная в этой пучине. Люба, вешалки, женщины в синих халатах качались и плыли в мировом океане меховой индустрии до тех пор, пока Юрлов не подошел к жене и не сказал: «Любань, ты еще померь тут немного, а я пойду покурю». Увлеченная примерочным азартом, она едва ли заметила исчезновение мужа.

Юрлов втянул звонкий, холодный, но не до злости, воздух, как нашатырь, и выплыл на поверхность. Запахи, звуки, цвета снова становились свойствами вещей, снова наполняли их объемы и формы. Он не курил, он просто дышал. Дышал долго, глубоко, прочувствованно, а потом побежал. Побегал мелкой трусцой на остановку, бежал и оглядывался. Думал, что, как побегит, так из ДК сразу выскочит Люба в дубленках, а за ней – женщины в синих халатах с рогатинами, и гаишник засвистит, и движение перекроют. Обидно это было или нет, но на бегство Юрлова никто не обратил внимания, ни одна снежинка не изменила траекторию полета. Судьба сегодня благоволила Юрлову, боги нарушенных планов и иррациональных поступков были за него – подкатил бело-красный, замызганный 55-й, бывший когда-то, как почти весь общественный транспорт в этом городе, немецким автобусом, и вобрал Юрлова в себя. Юрлов ехал и улыбался слабоумной улыбкой школьника из класса коррекции, когда представлял, как Люба, наконец перемерив все дубленки, обнаружит пропажу Юрлова, как высветится на его телефоне двадцать восемь пропущенных вызовов. Он протер кругляшок в запотевшем стекле и смотрел, как сменяются дома на главном проспекте: сталинки – на хрущевки, хрущевки – на частный сектор. Юрлов вышел на Институте им. Лисавенко: с одной стороны лес, знаменитый ленточный бор, куда еще школьником он ходил на экскурсии – изучать разные виды веч-

Юрлов, правда, очень хотел, чтобы на табличке написали, что здесь покоится не просто тело, а тело русского поэта, но родственники почему-то заупрямились, сказали, что нехорошо, нескромно.

нозеленых растений, с другой – голая степь, посреди которой – кибиточка с надписью «Сажены. Рассада. Семена». Юрлов пошел в сторону кибитки. Конверт в правом кармане брюк как будто нагрелся и сквозь ткань слегка жег Юрлову ногу. Развернуться, что ли, и обратно к дубленкам?..

В кибитке было тепло и весело пахло хвойными. За прилавком сидел мужичок – клетчатая рубашка, борода, кустистые брови. «Дед-лесовик», – подумал про себя Юрлов. Долго выбирать не пришлось, он его сам выбрал. Другие были какие-то косенькие, кривенькие, то лысоватые, то с пожелтевшими иголками, а этот – зеленый, бодрый, прямой. Это еще пока, конечно, не кедр, а только саженец, птенец, но из него – Юрлов это точно знал – вырастет большое, сильное и гордое дерево. Он махнул головой на выбранный саженец и отсчитал деду-лесовику деньги. Конверт сильно похудел, Юрлову взгрустнулось, но ненадолго, потому что он тут же представил, как обрадуется, то есть обрадовался бы, Коршунов его кедр.

Идти тут недолго – всего две остановки вдоль Ленточного бора – и тут же Лосихинское кладбище. Главное – успеть, пока еще день совсем не потух. И еще одно главное – найти лопату, непременно найти. Первым делом Юрлов решил идти в охранную сторожку – уж там-то точно должно все быть. Лопаты, конечно, были у кладбищенского сторожа, а совести, оказывается, – не было.

- А я говорю – не дам!
- А я говорю – дайте! Ну, что вам стоит? Жалко, что ли?
- Не жалко, а не положено. Лопаты выдаются только по разрешению могильщикам-копальщикам.

- А, так ты денег, может, просто хочешь, так давай я дам, сразу бы сказал.
- А это уже взятка! Или вы сейчас покинете служебное помещение, или я полицию вызываю.
- Вызывай-вызывай! Тем более к тебе вон в окно кто-то лезет!
- Кто лезет? – отвернулся сторож.

Юрлов схватил первую попавшуюся лопату и утек. Дорогу он вроде бы помнил – прямо по лесной тропинке до памятника с ангелом с большими резными крыльями, потом налево, участок 13Б. Так и есть – большой деревянный крест, на кресте – табличка, на ней выгравировано: «Здесь покоится тело Владимира Михайловича Коршунова». Юрлов, правда, очень хотел, чтобы на табличке написали, что здесь покоится не просто тело, а тело русского поэта, но родственники почему-то заупрямились, сказали, что нехорошо, нескромно. Но от этого он поэтом-то быть не перестал. Правда, не очень удачное место выбрали, похороны организовывал Союз писателей, что-то они там замяли, напортачили. Во всем лесном кладбище выбрали самый безлесный участок, и Юрлов, как друг, да что там говорить, как лучший друг, решил посадить на могиле настоящий сибирский кедр. Фотографии на кресте не было – сам Коршунов не хотел, что, мол, не по-христиански это, что Бог все равно всех узнает без фотографии (хотя отношения с Богом у него были путаные). То ли бывшие ученики, то ли бывшие женщины Коршунова (черт их знает, и те и другие бегали за ним толпами) принесли все-таки фотографию в рамочке, откуда он смотрел своими молодыми, лукаво-хитрыми, болотного цвета глазами и гладил огромного кота Барклая. Между двумя четырехзначными цифрами под надписью на слабо поблескивающей табличке – прочерк – линия жизни Коршунова. Что это с математической точки зрения – отрезок, луч или прямая? Если все-таки прямая, расходящаяся в оба конца от минус до плюс бесконечности, то где-то на расстоянии подсолнечного семечка от правого края должна стоять точка, в которой они говорили последний раз на лавочке у кардиоцентра. Юрлов втихаря таскал Володе сигареты, Коршунов жаловался: «Коль, залечат они меня тут до смерти, а что дальше – не знаю». «В каком смысле – не знаю? Ты же вроде покрестился». «Да покреститься-то я покрестился, а все равно не знаю. Ну, Бог есть, в это я верю, а что там что-то за чертой – как-то сомнительно все это, труднодостижимо. Ты представь, сколько тогда душ должно существовать, сколько это их нужно, как в резервации, сохранить – мириады». Странно все это, но если

вдруг каждому и впрямь должно достаться по вере, то неужели Коршунову досталось небытие, холодное, равнодушное, как ржавый пустой бак, когда из него осенью на даче спустили всю воду? Поэт Володя Коршунов писал, как здорово искать и находить камни, покрытые мхом и лишайником, как солнце ложится спать в ложбинку между горами, как плотно смыкаются вокруг тебя в объятиях сосны, когда ты сидишь промозглой августовской ночью у костра, и как искры этого костра выстреливают высоко-высоко в небо, как будто желая присоединиться к Млечному Пути или Большой Медведице, а тут на тебе – небытие. Юрлов поежился.

В середине прямой (или все-таки луча? Должно же быть какое-то условное обозначение начала) – другая точка. Среди ночи дежурного сторожа детского сада Юрлова (он тогда калымил) разбудил телефонный звонок. Из какофонии звуков плохой связи проступали, как черепки керамики у археологов, островки ясности – знакомый голос Серого хрипел про какого-то Коршунова и мертвую тещу. Юрлов проснулся окончательно и собрал из свалившегося на него звукового хаоса смысл: Коршунов, сменщик Серого по кочегарке, заболел, лежит в гриппозном бреде в этой проклятой кочегарке, а Серый уехал хоронить тещу в Тальменку. «Так что, мне ему лекарства нести? Денег у меня нет», – сторож Юрлов заслонился забором бесчувственности, чтобы не впасть в излишнюю филантропию. «Не, он живучий, как собака, ты просто сходи на час-другой, протопи за него, а то уволят». Юрлов, сам не зная почему, чувствовал себя неловко в роли сестры милосердия. Покидав уголь, спросил: «Жив?» Жив. Следующим вечером зашел с медом и лимоном, неуклюже пошутил что-то про лазарет. Еще через день Коршунов прочитал ему свои последние и, как ему самому казалось, лучшие стихи. Юрлов, окончивший местный сельхозинститут, был жаден, как булимик у шведского стола, как бабник в женском коллективе, до рифмованных слов, записанных в столбик, ему представлялось, что это особая безнотная форма музыки. Был жаден и порой неразборчив. Но тут ему показалось, что он встретил что-то настоящее, что все современное, что он читал до этого, было только неудачной попыткой перевода с универсального мыслительного языка на русский.

Юрлов бросил шарф и шапку на землю, чтобы легче было рыть лунку для кедра. Сначала смахнул легкий, как Володин характер, слой снега, потом вгрызся в стылую, уже отлюбленную летним теплом землю. Поставил в середину лунки саженец, стал забрасывать землей корни. Вдруг кто-то запел: «Это

все, что останется по-после меня, эээ-то все, что возьму я с собой...» Это мобильник запел, вот что. Курносенькая брюнетка на экране – Люба. Который пропущенный? Пятнадцатый? Не слышал в транспорте, и не надо, есть кнопка «откл.», Юрлов чувствовал себя всемогущим (ну, или, по крайней мере, очень сильным) в такие моменты.

Коля Юрлов посмотрел сквозь сгущающиеся кладбищенские сумерки на свой саженец и решил, что это хорошо, и понял (хотя бы отчасти) радость Господа в дни творения. На кладбище ему было почему-то совсем не страшно. Он обмел тонкий слой снежинок с Володиного креста и с его портрета в рамке (они смешно залепили ему лицо) и сам лег – между кедром и Володей. Коля сначала закинул руки за голову, а потом стал делать руками-ногами туда-сюда снежного ангела, как когда-то в детстве, вверху летел самолет (недалеко был аэропорт) и подмигивал сигнальными огнями не то чтобы Юрлову, но вообще, и Юрлов тоже на всякий случай ему подмигнул, а потом своими несильным, почти что тонким голосом стал напевать «Я сво-бо-де-е-ен!». Юрлов очень надеялся, что Володя как-нибудь ответит – промелькнувшей птицей или хотя бы упавшей рябиновой гроздью, но Володя молчал.

